

PC  
Δ30

1676373

Валери  
ЗЕМЕНТОВ

ВЛАДИСЛАВ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  
КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
1970







Р2  
Д 30



Гравюры на дереве художников  
Г. и Н. Бурмагиных

# Случай подлинный, счастливый

**БОЛЕЕ** удачное выражение, менее удачное — это в литературе не пустяк, это имеет несомненное значение, но главное, мне кажется, все-таки в другом, — в интонации, лирической, возвышенной, ясной, возникающей не из ничего, а из самого материала книги. И там, где она смелее, эта интонация, там она и вернее, там и лучше само произведение.

В этом смысле для меня чрезвычайно интересным произведением оказалась повесть «Дионисий» Валерия Дементьева. Речь идет о младшем современнике Андрея Рублева, иконописце Дионисии, работы которого сохранились в Феррапонтовом монастыре на Вологодчине.

Небольшая по объему, прочитываемая легко, повесть эта, по существу нашего литературного дела, очень не проста — она требует большого умения, уверенной руки.

Требует этого хотя бы потому, что состоит из частей совершенно различных, даже разнородных, а тем не менее представляет собою нечто единое, цельное.

Сначала автор ведет рассказ «от себя» и о себе: как и почему он собрался поехать в Феррапонтов монастырь, как туда приехал, где

поселился и что там увидел. Это чисто очерковая часть, фактическая. Затем следует историческая справка о Дионисии, как и полагается для справки такого рода, подкрепленная выдержками из различных источников. Тут же, попутно, и некоторые рассуждения о древнерусских мастерах-иконописцах, о природе их искусства.

И, наконец, историческая повесть о Дионисии, о сыновьях его Феодосии и Владимире, о пособнике Еремее. Это уже художественное произведение как таковое, авторский домысел, тоже как таковой, и я представляю себе, как не просто соединить в небольшой вещи три жанра, соединить органически, так, чтобы их соседство не только друг другу не мешало, а, наоборот, дополняло бы друг друга и поддерживало.

И удача сопутствовала автору. Не благодаря хитроумному расчету, хотя расчет совсем, до конца, тоже не следует сбрасывать со счетов, а прежде всего в силу все того же настроения, все той же интонации — искренней, приподнятой. Я бы даже сказал — возвышенной.

Зная и другие работы Валерия Дементьева, можно, вероятно, догадаться, откуда это: от поэзии, которой он отдает немало времени, от навыков литературоведа-исследователя.

«Дионисия» надо прочесть — пересказывать его нет никакого смысла и резона. Дионисия нужно и можно (возможность эту Дементьев нам вполне предоставляет) увидеть и услышать — и самого по себе, и вписанного в пейзаж, в землю и небо озерного края Заволоцкого.

Теперь, после того как я прочел Дементьева, все кажется, что, когда я бывал в музеях, — Рублевском, на Крутицком подворье, в Загорске, в Новодевичьем монастыре, в Коломенском, — там для полноты впечатления все время не хватало мне именно вот такой книги.

Такой или такой же. Если не о Дионисии, так о Рублеве, а не о Рублеве, так о древних русских зодчих, мастерах каменно-строительных дел.

И, право же, книги такого рода должны издаваться тиражами массовыми и продаваться не только в книжных магазинах, но и в музеях. Это наша обязанность, дань нашей истории.

То и дело иные статьи и книги на темы русской истории патриотичны только потому, что их автора как бы обязывает к патриотизму сама тема. Вот мы и чувствуем тогда исполнение авторского долга. А больше — ничего.

Здесь же случай совершенно другой — случай подлинный, счастливый. Потому что происходит он не из отвлеченных рассуждений, а из исторического материала, сама природа которого патриотична.

Факт этот — творчество Дионисия, факт конкретный, убедительный, воодушевляющий.

Художественное открытие такого факта, приобщение к этому открытию читателя — это и есть главное достоинство, суть и патриотический смысл повести «Дионисий» Валерия Дементьева.

Сергей З а л ы г и н.





За моя и  
Губарской  
стенкой  
і

The image features a highly stylized, black-and-white calligraphic design. The text is arranged in four lines: 'За моя и', 'Губарской', 'стенкой', and 'і'. The first line is partially obscured by a large, bold, black shape on the left. The second line, 'Губарской', is written in a cursive, flowing script. The third line, 'стенкой', is in a bold, blocky, sans-serif font. The fourth line is a single character 'і'. The design is embellished with several bird silhouettes: a large bird in flight at the top center, a smaller bird to its left, and a pair of birds perched on a thin branch to the right of the second line. The overall style is reminiscent of early 20th-century graphic design or folk art.



**М**НЕ надоело слышать одни и те же вопросы, которые задавались с нескрываемым удивлением и даже раздражением:

— Ты был в Ферапонтовом монастыре? Ты видел фрески Дионисия? Как?! Ты до сих пор не удосужился побывать на берегах Бородаевского озера?!

И далее следовало все то, что положено в таких случаях выслушивать от друзей, заинтересованных в том, чтобы ты приобщился к их удивлению и восторгу, чтобы ты стал таким же, как и они, поклонником несравненных росписей несравненного старца Дионисия.

Все это мне надоело, а больше всего надоели собственные проволочки, ссылки на неотложные дела, неоконченные рукописи и недочитанные книги, лежащие на столе, на всю ту крутоверть, которая с утра захватывает тебя и не дает ни оглянуться, ни опомниться до полуночи.

Короче говоря, однажды на Дзержинской я взял билет в кассе «Аэрофлота» и улетел, не ответив на телефонный звонок, задребезжавший в тот самый момент, когда я, надев пальто, взялся за ручку чемодана. Я просто выскочил за дверь, бегом сбегал с шестого этажа и через час садился в почтово-пассажирский самолет на Быковском аэродроме. Мне здорово повезло, потому что в тот же день от причалов Череповецкого речного порта отходил теплоход на Кириллов.

Что я действительно приближаюсь к Феррапонтову, что скоро мне удастся повидать фрески Дионисия, я понял лишь в автобусе, который, как рыбачий баркас, бросало с боку на бок,— это автобус петлял по старинной проселочной дороге Кириллов — Каргополь.

Стояла середина мая, но день выдался холодный, ветреный, и в окно автобуса, забитое фанерой, сильно дуло. Я судорожно держался за поручни кресла, не рискуя их выпустить даже тогда, когда автобус выбегал на ровную дорогу.

«Не на этих ли ухабах мотало возок со старцем Дионисием?» — позабавила меня внезапная догадка. Но чем ближе к вечеру, тем пасмурнее становилась погода; и когда, наконец, автобус прибыл в Феррапонтово и я увидел на взгорке надвратную церковушку с полуразрушенной оградой монастыря, меня охватила такая бес-

просветная тоска, что я подумал: а стоило ли мне срываться с места, лететь сломя голову за тридевять земель, чтобы полюбоваться тем запустением, которого хватает в иных памятных местах Подмосковья.

Поселился я у бабки Любавы в закутке, оклеенном старыми номерами областной газеты «Красный Север» и освещенном керосиновой лампой. До утра нечего было и думать, чтобы идти в монастырь. Но я все-таки миновал водосброс у Бородаевского озера, поднялся на взгорок, оглядел со всех сторон ограду монастыря, каменный храм Рождества богородицы, вернулся к главным, так называемым, святым воротам и от нечего делать стал разглядывать росписи на охлупшей, отставшей кое-где штукатурке. Росписи меня огорчили: они были выполнены рукой ремесленника и, конечно, никакой художественной ценности не представляли: провинциальное изделие провинциального богомаза, как и в большинстве церквей начала века.

Поутру я недолго распивал чай у бабки Любавы в избушке, вросшей в обочины по-осеннему раскисшей дороги, разбитой к тому же тракторами и грузовыми автомашинами. Я снова миновал водосброс, снова поднялся к ограде монастыря.

За ночь что-то неуловимо переменялось то ли в моем настроении, то ли в облике архитектурного заповедника; теперь кое-где виднелись следы реставрационных работ, приметно краснела свежая кирпичная кладка, лежали бумажные мешки с цементом, груды песка. Строители явно не спешили, как и вообще они не шибко торопятся при реставрации памятников древности.

А пока мне открылся крохотный монастырский дворик перед рождество-богородицким собором. Дуплистые тополя и березы придавали ему вид уютный, а точнее укромный, как бывают укромны старинные аллеи и запущенные парки где-нибудь возле бывших барских усадеб.

Хмурый, неразговорчивый смотритель мне и еще двум экскурсантам, по-видимому, москвичам, отомкнул тяжелый замок на кованых дверях собора, и я ступил на истертые плиты лестницы, ведущей к главному входу. Над входом находилась тесовая галерея и поэтому там было сухо и чисто, как в домовитых деревенских избах. В то самое мгновение, когда я поднялся по лестнице, яркий солнечный квадрат упал на выскобленный деревянный пол галереи,— стало так светло, что засветилась каждая ворсинка на полу, до блеска надраенном дресвою. Дресвой трут хозяйки полы, чтобы они были чище и обиходнее,— таков обычай в северном крае. Эта чистота и свежесть создавала предпраздничное настроение, и я невольно перевел дыханье, пытаюсь одолеть непонятный для меня приступ радости, вернее предчувствия радости, которое, по-моему, волнует подчас сильнее, чем сама радость.

Не могу сейчас точно передать первые мысли и первые чувства, возникшие у меня при взгляде на фрески Дионисия. В глубине сознания я сразу понял: это что-то такое, что встречается раз в жизни. Плохо зная акафист деве Марии, который послужил сюжетной основой росписей Дионисия, основное внимание я, конечно, обращал на краски и на технику живописца. Здесь у меня не было сомнений: изумительное, подлинно возрожденческое произведение искусства

было передо мной! На фресках главного входа преобладали нежно-голубые и горячие, золотисто-охристые цвета, — они-то и создавали ту приподнятость, особую возбужденность, которую я испытал, подымаясь по лестнице и выходя на деревянный пол галереи. Причем голубой, вернее небесно-голубой цвет был как бы слегка выгоревшим, тронутым пылью столетий, прошумевших за стенами собора. Нет, это не была пыль в повседневном, будничном понимании, это была пыль веков, чуть приметная седина времени, — в этой седине, в этой легкой дымке, было для меня особенное обаяние фресок.

В самом соборе от кирпичного пола до купола — все было расписано рукой Дионисия и его сыновей Владимира и Феодосия, а также их иконной дружиной. Испытанное мною возбуждение не улеглось и теперь, когда я стал разглядывать четырехъярусные «письма» церкви. Фрески как будто светились изнутри. Фигуры праведников и святых, непомерно удлинённые, а поэтому изысканные, невесомые, парили в голубом пространстве. Особенной теплотой, изяществом отличались женские фигуры. Их позы были исполнены врожденной грации, их движения были медлительны и неторопливы. Стоявшие невдалеке от меня москвичи, притихшие, зачарованные, шепотом, невольным шепотом, потому что в церкви мы были одни, обменивались редкими взвешенными словами.

И всю неделю, которую я провел в Ферапонтово, каждое утро, как на службу, я приходил в собор, садился на широкую скамью перед росписью главного входа или сразу же проходил в собор и никогда не уставал смотреть на эту

спокойную, умиротворенную, как бы сказали в старину, многовещанную поэзию стенного письма. Постепенно фрески размыкались на отдельные картины, образовывали композиции из народных толп, шествий, поклонений, жанровых сценок, диковинных животных, — в одном без труда я узнал северного медведя. Мне стали понятны и библейские притчи, если не все, то многие: ведь художник в них изобразил вечные радости и горести людей, иных он не знал, иных он, земной человек, не ведал и ведать не мог.

От этих сцен веяло на меня беспредельным миролюбием и такой же беспредельной душевной добротой и щедростью живописца. Своим великим талантом он утешал всех, кто изнемогал в скорби и печали, кто был обездолен, наг, сир, кто терял веру в людскую справедливость и отзывчивость. Он ободрял этих людей, он вселял в них надежду, что есть, должна быть иная, лучшая жизнь, иной, лучший, очищенный от скверны и страха, от крови и злобы мир. Для нас же, людей новой эпохи, его мастерство, его прекрасное искусство остается свидетельством неизбывной жажды человека жить в мире и согласии, творить, доверяя повелениям своего разума, сердца, чувства и вдохновения.

Настал день отъезда. В последний раз я пришел в собор и только тут, на софите маленькой дверцы, выходящей на север, заметил полустершуюся церковно-славянскую вязь. Как я ни бился, мне не удалось разобрать эти письмена. И только в Москве, в «Истории русского искусства» В. Н. Лазарева я прочитал их полностью: «В лето 7008 (1500) месяца августа в 6 день на



преображение господа нашего Иисуса Христа бысть подписывати церковь и кончена на 2 лето месяца сентября в 8 день на рождество пресвятыя владычицы нашей богородицы Марии при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси, при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и архиепископе Тихоне, а писцы Дионисий — иконник со своими чады. О владыко Христе, всех царю, избави их господи мук вечных».

Я привел эту надпись полностью, потому что старинной тяжеловесностью, она, как ничто другое, передает воздух эпохи, в которую творил великий художник. Эта подпись в дальнейшем сыграет немалую роль в судьбе художественного наследия Дионисия.

Древние живописцы не имели обыкновения подписывать фрески и иконы, — тем загадочнее причины, по которым Дионисий решил оставить потомкам свое имя. Да и вообще, как он, жалованный государев иконник, попал в лесные дебри, в безлюдные «белозерские страны». Предположениям и домыслам несть числа. Уже тогда, в Ферапонтово, у меня смутно возникла своя догадка. Однако эта гипотеза хоть в малой степени должна была опираться на факты, на свидетельства современников, на летописные источники, — а вот их-то у меня под руками и не было. Впоследствии пришлось по крупицам собирать редкие упоминания о Дионисии в летописных сводах, в житиях церковных иерархов, в искусствоведческих работах. Но все это было потом. А сейчас я хотел бы рассказать, как благодаря этой подписи в Рождественском соборе Дионисий был открыт вторично.

За четыре долгих столетия потомки забыли имя Дионисия. Забыли настолько основательно, что даже И. Бриллиантов, оставивший историю Ферапонтовского монастыря, изданную к пяти-сотлетию со дня основания обители (1398—1898), спрашивал в связи с предположительной датой строительства Рождественского собора: «Упомянутый здесь Дионисий-иконник не тот ли знаменитый в свое время иконописец Дионисий, которому в 1482 году заказывал писать иконы архиепископ ростовский Вассиан?»

Однако вопрос был оставлен без ответа. Бриллиантов больше не возвращался к нему, считая, вероятно, свое предположение нелепым, бездоказательным.

Незадолго до первой мировой войны В. Т. Георгиевский, знаток русской старины и иконографии, предпринял путешествие по северным губерниям. В глухом углу Новгородского края, в полузабытом, полуразрушенном Ферапонтовом монастыре, ему посчастливилось найти древнюю стенную роспись. С первого взгляда фрески поразили его силой художественного мышления, необычным колоритом, изяществом и решительностью рисунка. Еще больше удивился В. Т. Георгиевский, когда на стене собора он обнаружил не что иное, как собственноручную подпись Дионисия. Сомнений быть не могло: эти фрески принадлежали кисти сподвижника знаменитого Аристотеля Фиоравенти, строителя московского каменного кремля, Успенского и Благовещенского соборов, в которых сам Дионисий, а после его смерти сыновья Феодосий и Владимир расписывали стены.

В 1911 году в Петербурге вышла солидная монография «Фрески Ферапонтова монастыря» Георгиевского, в которой описывалась история открытия этой жемчужины древнерусской живописи и были приведены репродукции фресок. Так Дионисий, называемый летописцами «мудрым», «пресловущим паче всех (т. е. более всех других знаменитым) в таковом деле», «изящным и хитрым в русской земле иконописцем, паче же рещи живописцем», через четыре столетия стал вновь известен художественной общественности России.

Как же случилось, что стенная роспись Дионисия и его сотоварищей сохранилась в первоизданной свежести и красоте? За четыре века немало сменилось поколений, отпылало пожаров, отгремело войн, рухнуло, исчезло с лица земли зданий! Почему же фрески в Ферапонтовом монастыре ни разу не стирались, не срубались топорами, не переписывались заново, как в большинстве древних соборов и храмов? Ответ на этот вопрос может быть только один — это счастливая случайность, «почти чудо», как сказал Георгиевский.

Наивно думать, что монастырская братия сохранила фрески Дионисия лишь потому, что они принадлежали кисти великого художника. Братия ничего не знала ни о Дионисии, ни о его творениях. Скорее наоборот, братия считала стенную роспись недостаточно канонической и «божественной». По некоторым свидетельствам в XVIII веке были предприняты попытки подновить фресковую живопись. Тогдашние стенописцы первым делом усилили сияние нимбов вокруг святых угодников. Правда, новые краски

вскоре осыпались. Но в начале XX века местное духовенство затеяло перестройку собора, отдельные фрески были непоправимо повреждены проломами, а сам собор дал трещины, которые, кстати сказать, зияют в стенах собора и по настоящий день.

Дело обстояло гораздо проще: в северных лесах, вдали от торговых путей и дорог, затерялся этот небольшой монастырь. В 1798 году он был закрыт вообще и рождество-богородицкий собор, расписанный иконной артелью Дионисия, превратился в простую приходскую церковь. Бедность прихода, его заброшенность, его удаленность от промышленных центров, — вот что спасало это выдающееся произведение древнерусской творческой мысли.

Слава Дионисия, младшего современника Андрея Рублева, постепенно стала возвращаться к нему. Первооткрыватель дионисиевых росписей В. Т. Георгиевский назвал художника «великим колористом». И это, действительно, так. Секрет медвяно-золотистых, солнечных и зеленовато-лазурных фонов был утрачен после смерти великого мастера. Ни разу в русской настенной живописи не заструились, не засверкали с такой интенсивностью, с такой силой природные краски, как под гениальной рукой Дионисия. А все эти краски были найдены на берегах Бородаевского озера. До ста сорока шести оттенков одной только охры различают знатоки в его фресках. Разноцветные камни, рассыпанные по берегам Бородавы и других озер, дали Дионисию это поразительное богатство колеров и оттенков. Синий же фон, прославивший феррапонтовские росписи, под рукой других стенопис-

цев стал со временем мутнеть, превращаться в темно-бутылочный, зеленовато-свинцовый фон. В дальнейшем, в XVIII веке, цветовая гамма стенных росписей многих соборов и церквей приобрела вообще грубо-ремесленный, лубочный характер.

Что касается изобразительного мастерства Дионисия, то здесь можно привести немало свидетельств наших крупнейших исследователей, художников, работников картинных галерей и музеев.

Первым о гениальности Дионисия в послереволюционный период сказал писатель Иван Евдокимов, и сказал об этом без обиняков, в полный голос. «Ферапонтовская роспись — гордость нашею искусства, — писал он в монографии «Север в истории русского искусства» (1921). Эта монография по сей день является уникальным исследованием северного зодчества и северной архитектуры. И. Евдокимов по праву сравнил историко-архитектурный ансамбль Ферапонтова монастыря и, в первую очередь, фрески Дионисия с лучшим произведением итальянского Возрождения, с Сикстинской капеллой. Позднее научный сотрудник государственной Третьяковской галереи В. И. Антонова справедливо отмечала: «В наше время Дионисий, вслед за Андреем Рублевым, должен быть оценен как художник, творчество которого имеет всемирное значение». Н. М. Чернышев в книге «Искусство фрески в древней Руси» пишет, что, по его мнению, западный портал, главный вход собора, «является произведением огромной художественной ценности». Наконец, в марте 1969 года «Правда» поместила статью С. С. Подъяпольско-

го, в которой о дионисиевых росписях говорилось как о «настоящем чуде искусства».

Я не вхожу в тонкости искусствоведческих споров вокруг наследия Дионисия, — они есть, они ведутся с неослабевающей силой, а просто хочу напомнить один немаловажный факт: из двух великих художников древности широкая публика знает имя Андрея Рублева, но почти (или точнее почти) ничего не слышала о Дионисии.

После поездки в Ферапонтово по давнишней привычке я засел в «Ленинку» — библиотеку имени В. И. Ленина в Москве и, работая над архивными материалами, попутно, скорее для себя, чем для публикации, стал заносить в черновые тетради выписки, в которых говорилось о непреходящем значении творчества Дионисия в наши дни. Я отнюдь не думал воспользоваться этими выписками и свидетельствами признанных авторитетов в области древнерусского искусства, наивно полагая, что существо вопроса ясно без дополнительных пояснений. Но я ошибался и в дальнейшем понял, что без цитат мне не обойтись. Сами «северные письма», сама иконопись и фресковая живопись, сохранившаяся в соборах, по-прежнему у иных ревнителей атеистического воспитания молодежи вызывает, если не чувство неприязни, то во всяком случае неодобрения и недоумения. Библейские и мифологические сюжеты для западноевропейских художников давным-давно принято считать естественным и закономерным этапом в духовном развитии всего человечества. Что же касается неповторимых святынь нашей национальной живописи, то здесь инерция и догматизм

действуют с прежней силой. Мы подчас забываем слова, которые сказал Сергей Есенин в одном из предисловий. Поэт просил относиться к его «исусам» и «божьим матерям», к его «Марии» как к сказочному в поэзии, как к мифам и легендам, существующим и у других народов.

Поэтика древнерусского художника Дионисия складывалась под непосредственным воздействием этих мифов и легенд, бытовавших среди всего православного славянства. Однако в поэтике Дионисия следует видеть и другие, в частности, народные истоки художественного вдохновения. К концу XV века русские люди предстали пред миром как единая нация. Русь не только оградила Запад от многовекового натиска восточных орд, от разорения, рабства, деспотизма, но и сохранила собственную «душу живую», берегла великий художественный дар, жажду строить, созидать, творить. Веками русские выпевали себя в песнях и былинах, выплакивали в плачах и причетах, высказывали в сказках и преданиях, — это хорошо известно из трудов собирателей фольклора, из антологий народно-поэтического творчества народа. Но русские с неменьшей силой выражали себя и в деревянном зодчестве, в прикладном искусстве, — в вышивках, ткачестве, резьбе по кости и бересте, наконец, в живописи, — в росписи предметов домашнего обихода, в книжной миниатюре, иконографии. Именно так, — в иконографии. На Севере иконопись столетиями была и оставалась подлинно народным искусством: тысячи безымянных мастеров по северным монастырям, посадкам, селам писали лики угодников и святых. Этим наше древнерусское искусство отличается от искус-

ства средневекового Запада, не говоря уже об искусстве Возрождения, имеющем четко выраженный, индивидуализированный характер. Русские мастера неизбежно обращались к библейским сюжетам, к Ветхому и Новому заветам, к разнообразной христианской символике, ибо «модель мира» в их сознании и воображении строилась, с одной стороны, по памятникам словесности, большей частью религиозного содержания, а с другой, — по народным верованиям и повериям, имеющим многие дохристианские, языческие черты.

Вот почему колористическое восприятие этих символов и сюжетов было глубоко самобытным, непосредственным, простонародным, — самоучки-иконники запечатлевали в иконах, в росписях прялок и туесов, в резьбе по дереву, в книжных заставках и чистую радость и горечь бытия, красочно высказывали свою сильную, здоровую, крестьянскую натуру.

Творчество Дионисия — одна из вершин многослойной художественной культуры, созданной русским народом, берущей истоки из глубины веков. Дионисию и его иконной дружине довелось в живописи выразить зрелое национальное самосознание русских людей, впитать в себя, а затем и поднять на высокий художественный уровень опыт деревенских богомазов, иконописных дел мастеров.

Вот почему оглядываясь на прошлое, различая такие могучие вершины, как Дионисий, отдаленные от нас веками, мы учимся прозревать завесу грядущего, учимся смотреть с чувством собственного достоинства и внутренней правоты во все стороны света. И, наоборот, отвергая



прошлое, проявляя привычную нетерпимость и подозрительность ко всему «слишком старому» (равно, как и ко всему «слишком новому») мы обрекаем себя на духовную близорукость.

Вот почему вместо искусствоведческого исследования мне захотелось в меру сил и возможностей воссоздать облик самого Дионисия, поведать историю возникновения его фресок в Ферапонтовском монастыре.









**К**РИК монастырских галок подымало ветром над звонницей, сносило в поля вместе с редкой куделью тумана. Ветер дул-задувал ровно и сильно, как из подворотни, раскачивал вершины старых тополей, срывал с крыш сырые дранки. Белесый туман рвался на лету, — и тогда с небес начинало скупо сочиться утреннее солнце. Было похоже оно на яичный желток, растертый в белилах. С косогора, из-за ограды, виднелась взъерошенная даль Бородаевского озера, в заозерье — кромка лесов, откуда неостановимо вылетали, пластались по небосклону облачные стаи. На монастырском подворье свивались в тугие петли тропинки. Начинались они

у поварни, у трапезной, у монашеских келий и вели к широкой лестнице рождество-богородицкого собора. Собор стоял на взмостье, окруженный с трех сторон галереей. С главного входа еще не сняли леса; сквозь горбыли, сколоченные крест на крест, сияла охряная и лазурная роспись.

Ферапонтова обитель не была столь богата и славна, как соседний Кирилло-Белозерский монастырь. Мало землицы и деревень было приписано ферапонтовской братии.

Мало было и прихожан в глухой округе. Зато место красно и угодно на жительство избрал в старину Ферапонт, основатель обители, сподвижник старца Кирилла. Стоял монастырь на возгорке между двух озер, одно — Бородаевское, другое — Паское. Озера — рыбные. Леса — грибные. Сенокосные угодья — обильные. Потому-то и трезвонили часто колокола, как они трезвонили в тот час, когда на ветру раскричались монастырские галки.

...Дионисий, угрюмо насулившись, шел к храму по размокшей тропинке. Ночью в келье он лежал пластом, не смыкая тяжелых от бессонницы век. Дионисий все прислушивался к дребезжанью слюдяного оконца, к глухим порывам ветра, к ударам колокола, мерно стекающим со звонницы. Медной доской давила на грудь духота и не было сил сбросить ту доску, вздохнуть, как и прежде, легко и свободно. Смутилось в нем сердце, — страх смерти напал на него, покрыл тьмой недоумений, объял душу боязнью и трепетом. Почитай, с самой весны точила его,

как червь дерево тлит, неотвязная дума: прах летучий сие житие, пустое мечтанье.

Встал Дионисий, измаянный лихоманкой, ослабевший, поникший. Едва отворил низкую дверь, как ветер вырвал из рук скобу, с силой хлопнул притвором. От ветра, дующего с Бородавы, от утренней свежести, от милых душе озерных просторов вроде бы чуть полегчало. Взгляд привычно скользнул по крестьянским дворам, прилепившимся к косогору, по рыбацким ладьям, вразной пляшущим у причала, по синему лесу, зубчато стеснившему монастырь. Дионисий перекрестился на храм и надумал идти было дальше, как от соседней кельи навстречу ему поднялся человек. Длинные космы — мокры, спутанны. Сквозь рвань ходильного платья обнажилась грудь, тяжело блеснул нательный, кованный крест. Это был блаженный инок Галактион. Не имел он ни кельи, ни малой коморы, ночевал где придется на монастырском подворье, иное под окнами келий, иное на голой земле у собора, — радел о славе мученика и провидца. Старый игумен благословил монаха на подвиг юродства, и с тех пор приводил он в трепет лесную округу. Баяли все: ферапонтовский Галактион, дескать, блажен во юродстве, наделен даром разума иступленного, провидец он, страстотерпец. И сторонились юрода, остерегались задеть его словом, обидеть его ненароком. Страшный был по всему человек.

Среди монахов шел шепоток, будто не без его, галактионовых, козней случился в монастыре пожар. На осеннем рассвете враз загорелись амбары, сушильня, ограда, запылало все, затрещало, огонь перекинулся на ветхие кельи,

в одной из которых жил опальный отшельник по имени Иоасаф. Сановитый, сведущий в книжном письме был Иоасаф из знатного рода Оболенских князей. Подался он в белозерские страны, отягченный княжеским гневом. Блаженный Галактион, словно приبلудший пес, слонялся вокруг иоасафовой кельи, спал, согнувшись в калач, сидел у стены истуканом. Когда враз охватило пламенем низкую кровлю, вскричал знатный старец, что лежит в потайном уголке некий клад, хранимый монастырского ради строенья. Тогда-то Галактион, случившийся при пожаре, осенил себя крестным знаменьем, бросился в дверь, забитую дымом. Вынес из пламени и поставил к ногам Иоасафа укладку, окованную серебром да красною медью. С тех пор и пошла за юродивым слава, как за прохожим верная тень. Поминали слова, сказанные до пожара: «Не стоять вашей обители году. Святости нету в ваших трудах!» Сгорела б обитель до тла, да, вишь, помогла галактионова одержимость. На ту казну князей Оболенских были срублены заново все постройки. Начали строить и новый собор. Возводили его с великим стараньем, — камень везли издалека, из-под Ростова. Ростовской артелью с мастером Прохором был собор изукрашен кирпичною вязью, узором из бусынок, выпуклою — обронной — плетеницей.

Дабы придать большее благолепие церкви, отписал Иоасаф грамотку на Москву. Звал в той грамотке он самого Дионисия, известного в русской земле живописца. Старый мастер на уговору не поддавался. Однако в зиму 1500 году неожиданно прибыл в обитель с двумя сыновья-

ми — Владимиром да Феодосием, да левкащиком Еремеем, да иными пособниками и писцами.

Той же весной артель приступила к работам.

Галактион, притнув косматую голову, стоял возле узкой тропинки. Посинелый рот кривился в привычной ухмылке.

— Калабан, чалабан в predisподню угадал, — зачастил он, косноязыча, кланяясь Дионисию в пояс. Живописец хотел миновать его, но юродивый сыпал словами, словно каленым горохом.

— За смехотство, высмехотство в predisподню угадал! — И, сверкнув глазами зло, затаенно, добавил: — Худ ты, иконник, стал. Помрешь, видно, скоро...

— Каждому по делам его, — нехотя отвечал Дионисий. Но юродивый, распаляясь все больше, шагнул на тропинку, замахал, как мельница, рваными рукавами.

— Иконник, иконник, сатанинский угодник... Ты почто пожаловал в нашу обитель? Ты почто смешал божество с мирскою толпою? Ты святителей пишешь длинных, как жерди. Еретик ты... В адском пламени будешь гореть! Стенописаньям твоим осыпаться, как перхоти с шелудивого пса!

Юродивый сжал кулачища, повалился ничком на тропу. Жаждал он иступленьем своим унижить пришельца, обласканного, как гласила молва, отшельником Иоасафом и даже великим князем московским. Лютая зависть сжигала Галактиона: был ненавистен ему величавый мирянин, превзошедший во славе его, стратотерпца.

Дионисий, неловко подавшись вперед, стоял перед иноком, бившимся в черной падучей. Су-



хим, настороженным блеском были полны его очи. Не однажды слышал почтенный мастер подобные речи, — и не тут, не в дебрях лесных, а на дворе у великого князя, в Москве. Знай об этом юродивый, раздуло б его от гордыни, как раздувает утопленника в пруду.

— Встань, монасе, — тихо просил Дионисий. — Понапрасну семена злочестия сеешь: тебе не дано проникнуть в тайны стенного письма, в неизреченные наши заботы. Встань и иди, — повторил он суровой и строже.

Острые лезвия глаз Галактиона стали тускнеть. Но напоследок те лезвия полоснули по ясным глазам стенописца и только тогда, обмякнув, поднялся юродивый с влажной земли и, шатаясь, как с зелья хмельного, побрел в дальний угол подворья.

Заложив тонкие пальцы за опояску, хмуро смотрел ему вслед Дионисий. Нет, неспроста бесноватый затеял раденье. Горазд был на выдумки этот монах, ой, как горазд. «Святости нету в ваших трудах!» — вопил он монахам еще до пожара. Да и теперь повторял он слова не свои, а чужие. Знал Дионисий: невежество злость порождает, а злобе вкупе с бесчинством нет и не будет предела. Ведь кому же иному, как не ему, не Галахе, радеть о крепости веры, благословенья искать у пастырей здешних. Ах, да что сей темный и бешеный инок! Даже князь церкви, его покровитель — игумен волоколамский бился в падучей, когда прослышал о смуте в новгородской земле. «Хулящих царя небесного, наипаче царя земного — казням лютым предать, в зато-



ченье сгноить!» — кричал он, входя в иступление. Мнил волоколамский игумен: дойдут его речи до князя Ивана, прозвучат малиновым звеном в кремлевских хорах, возвестят Ивану о страже надежном, о прочном щите христианства. Семена благомысленной одержимости, поиски ереси дадут, — вздохнул Дионисий, — на Руси немалые всходы. Запылают смоленные клетки с еретиками. В землю заживо станут закапывать вольнодумцев. Неужели и роспись стенную топорами ссекут? Неужели его, Дионисия, труд пропадет от бесчинства, от злобы? Добро б от татарских мечей, а то от скребков неразумных монахов, наученных, науськанных таким же блаженным, как юрод Галактион.

Проезед по глазам Дионисий, как будто снимая липкую паутину, пошел угнетенно к южной ограде, где на левкасном дворе стояли крестьянские дроги.

Везли мужики в монастырь промытый речной песок, мешки с ржаною мукой, лен в тяжелых жгутах. Московский пособник по имени Еремей придирчиво трогал и песок, и лен, и уголь в грубых рогожах. Был пособник зело понятлив в строительном деле. Ведал он: в стенописаньях левкас — всему голова. Известь для левкаса, — а им покрывают стены соборов под краску, — потребна белая, мягкая, словно перина. Зимой эту известь вымораживают на холоду, а летом — мешают в творильных ямах. А все для того, чтоб не пошла емчуга по письму морокой, чтоб не покрыла лики угодников соляным, белесым налетом.

Когда же известь протрут, просеют, надо лен вычесать, изрубить его мелко, добавить коры еловой, да все смешать — вот тогда и будет спелым левкас. Тогда по редкому ряду железных гвоздей, вбитых в стены, наметывай левкас, гладь ручною лопаткой, грунтуй стены под краску. Но помалу делай дело: должен успеть живописец за день покрыть стены письмом. А как засохнет левкас, так писать иконнику худо.

Поучал Еремей мужиков-тугодумов, как готовить левкас, мял взыскательно известь в ладонях. Крепок дуб множеством корения, а художество крепко заботой и тщаньем людским. Тут, брат, любые проклятья бессильны, тут, брат, надейся вернее всего на себя.

— Добрый нынче левкас, — сказал Еремей, вытирая ладонь о порты. Отличался левкащик дородностью и голоса густотой.

— Феодосий, — как из бочки, гудел он, — «Брак в Кане» графьей помечает, а Володимир — серафимов в окне пишет.

Дионисий вместе с Еремеем осмотрел, как холопы в рваных сермягах лопатят левкас, как несут в берестяных кошелях к паперти собора. Левкащик, чуть поотстав, шел за главой иконописной артели.

— Леса-то с главного входа пора бы убрать, — сказал Дионисий. Еремей охотно кивнул в ответ загорелую плешью.

...Из-за высоких помостов, чанов с водою, горшков и кринок, заляпанных краской, корчаг, стоящих вдоль стен, в соборе было тесно и грязно. Пахло сырой известью, олифой, смолкой

сосновых досок. На лесине, ограждавшей помост, сидел Феодосий. Сидел он небрежно и легко, как татарский баскак на коне, слегка покачивая ногой, обутой в сафьяновый сапог. Этот баскóй сапог, у которого нос — шило, а пята — востра, ввел во гнев Дионисия.

— Доська, — укоризненно бросил он сыну, — кая нужда тебе здесь вырядаться. Ты хоть по забудням-то не красуйся, как девица.

— Пустое, отче, — ответил Феодосий. — Сам знаешь, своим рукодельем живем и питаемся.

Не сменив позы, Феодосий взял из обливной корчаги кисть и стал писать по свежему левкасу. Мазки его были теперь мелкие, иконописные, но ощущалась во всем его виде молодецкая удаль, твердая вера в себя. Тут уж медлить ему было некогда. Но и поспешать тоже нельзя: сырой левкас схватывал краски намертво. Переделать, исправить сделанное было уже невозможно. Высветлив лики, он двинул белилом по сильным местам, наметил скорбные подглазья, а уж потом принялся за ризы и царское убранство. Феодосий сошел на помост и с истовостью, неприметной в нем прежде, начал выписывать брачный наряд жениха. Охра медвяная, жженая, киноварь, празелень, голубец — все краски были у него под рукою. И постепенно проступали на стене жемчуга и драгоценные бляшки на оплечьях жениха. Загорелся на богоматери вишневым цветком мафорий — наряд, подобный головному покрывалу. Плавными складками легли одежды угодников. В ликах, писанных Феодосием, было что-то заученное, единообразное, зато выше меры старался он, выписывая праздничный царский наряд.

Дионисий долго следил за художеством сына. Было и Феодосию дивно столь пристальное внимание отца. По напряженному загривку, по его плечам, обтянутым холщевым балахоном, по всему складному облику чувствовалось: вкладывал душу Феодосий в соборную роспись. Хотелось ему показать, что он сам по себе, а не как чадо премудрого Дионисия много может достичь в благолепном письме. Кто иной, как не отец изрядно известный повсюду, мог оценить эту строгую верность древнему византийскому уставу и его, Дионисия, навыку. Медлительные, казалось бы, непомерно вытянутые тела царей и святителей были полны тишины. Они вели сокровенные беседы с жестом предстояния, либо погружались в тихое раздумье.

Дионисий присел на холщевое сиденье и по-прежнему взыскательно оглядывал стенную роспись.

Не только теперь, но давно он примечал: в парчевых одеяниях да корунах, униженных жемчугами, теряется сын как живописец. Столь прельстительное для него убранство губит в нем силу взыскующую, духовную. Губит прорись — емкую, сильную, единственно счастливую прорись большого мастера.

Будь его, Дионисия, воля, в одной ли хрупкой изящности, в медлительной ли важности беседующих, он стал бы искать себя? Под хитонами да парчевыми одеждами он вымыслил бы тела красивые, сильные, ловкие.

Но вспылчив нором у сына, и не терпит он ни в чем прекословья. Посему Дионисий сидел, облокотившись на колено, вобрав в ладонь бороду, сидел неподвижно, даже безучастно и

все-таки многое примечал из-под тяжелых припущенных век.

Монахи, приставленные к артели, вносили и выносили воду в дубовых ушатах, растирали на плоских камнях комья охры, копанной тут же, на берегах Бородаевского озера. Они студили клей для лазори, мыли в корчагах щетинковые кисти. И по тому, как споро они двигались, как неслышно мелькали под опорами помостов, понимал Дионисий, что меньший его сын стал для них главой дружины, что быть вскорости Феодосию жалованным иконописцем государя.

В толще северного окна писал серафимов Владимир. Поджав под себя калачом ноги, в серой, заляпанной известью однорядке, был Володюха подобен мучному кулю: тучный, словно бы заспанный, работал он с ленцой и явным небрежением. Томился Володюха в богоспасаемом углу второй год, втай поносил отца и меньшего брата за их сговорчивость да податливость на иоасафовы увещеванья. А бранился Володюха лихо. Да и как ему было не браниться: ведь ни денег, ни почестей не огребут они в ферапонтской обители. «И какого беса, — прости мя грешного, — думал он, — было бросать княжеский двор, коль скоро знатные муроли-фряжские каменностроительных дел мастера — строят в Москве церкви чудна вельми и светлостью, и звонностью, и высотой. А тут, в топях — болотинах, дикость одна да полное истощение плоти. У смердов не токмо меду хмельного али браги пенной, ломтя хлеба не сыщешь».

Не был Дионисий ни чернокнижником, ни ясновидцем, но умел читать он в сердцах сыновей своих, как в открытой книге. И потому что в

потайных володюхиных укоризнах было немало верного, еще более ссутулился он на холщевом сиденье. Колоколом гудело сердце в груди. Свинцовой тягой наливались ноги. «Помрешь ты скоро, иконник, помрешь», — хрипел в памяти галактионов голос. И дабы стряхнуть с себя юродское навожденье, развеять хоть малую толку тяжких печалей, медленно поднялся Дионисий и тихо вышел из храма.

Едва почитаемый мастер скрылся под сводами, как Феодосия поманил поварской служка. Тот нехотя оставил помост, спустился вниз по лестнице. Отведя иконника в темный угол собора, служка торопливым шепотом поведал ему, как изрыгал Галактион лютости зловредные, как поносил артепную стенопись.

У Феодосия заиграли желваки под литыми плечами скул, по шее пошли красные пятна. Он рывком сорвал с себя балахон, опрометью бросился вон из собора.

Крупно шагая по двору, раздув гневливо ноздри, Феодосий без толку обежал монастырские постройки. Злоба и страх душили его. От невежества галактионова бысть в людях молва великая и смятенье, — та молва покатится, полетит подметными письмами ко двору князя Ивана Васильевича, к престолу святительскому. До Иосифа Волоцкого, несравненного учителя, многогорделивого друга — дойдет та молва. В безумных дерзновениях да ересьях обвинит Москва богомазов и не видать ему, Феодосию, ни почестей великокняжеских, ни благословения митрополитова. Нет обороны от лжи, нет запо-



ров от навета: поди разберись, так ли писаны лики угодников в отдаленной обители.

Отец брани да тяжа, как яда смертного, обегает. Ему ли устоять против врагов своих? Ему ли развеять напраслину?

Феодосий вновь обошел постройки, пока, наконец, не догадался заглянуть в сушильню. Сильно рванув отводок, он ослеп от полумрака, царившего в сарае. Тяжелое дыхание его наполнило сушильню. У стены, завешанной сетями, на монастырских мерезках спал ничком Галактион.

Остроносый сапог с силой вонзился в ребра юродивого. Тот застонал от боли. Не давая Галактиону опомниться, Феодосий схватил его за грудки и поволок на волю.

— Ты... собачья кровь, — свистел он сквозь зубы. — Ты утром чьсь плел? Скоморошья пляски возле святого дела устраивал?

Грязное галактионово рубище треснуло, поползло с плеч. Сверкнули бельма закатившихся глаз, искоробился заросц ей дремучей волосней рот. Иконник еще раз встряхнул юродивого, потом брезгливо толкнул его, как рогожный куль, на землю. «Что взять со пса смердящего, — зло оборвал он себя. — Язык ему, рабу нечестивому, вырвать. В яме творильной утопить...».

Феодосий одернул тонкосуконный зипун, поправил кожаный пояс, крытый серебряными бляшками, и зашагал в келью Иоасафа.

Когда Феодосий вошел к Иоасафу, старец дрожащей рукою перелистывал чье-то житие. Иконник припал к руке старца, вкратце изложил заботу.

— Пойдем, сын мой, в храм, — смиренно ответил ему Иоасаф. — Пусть не томит тебя дух гневливый: в умной молитве да сопребывании обрящем утешение наше.

Феодосий помог старцу накинуть на узкие плечи куколь — темную, грубой шерсти одежину. Подал посох и расторопно открыл перед ним дверь.

Шли они к собору медленно, беседу вели тихую, незаметную.

Иоасаф часто останавливался, дабы передохнуть, а остановившись, неслучайно сокрушался. Дескать, дрогнула вера на Руси и отступили многие от православья. Ереси плодятся повсюду, вольномыслие, как никогда, процветает. А все потому, что мужи духовные из печаловников земли русской превратились в государевых потаковников. Воли своей не имеют. Права позабыли. Сам первый Иосиф Волоцкой отступил от небесного, а пришел к земному. Вместо дел монастырских за государево дело живот готов положить. Стяжательством обуян волоколамский игумен. Было бы жить черкецам по пустыням, да кормиться рукоделием своим — меньше было бы на Руси сомнений, меньше было бы кружащихся ради стяжанья. А то отписал ему прошлым летом Иосиф, мол, ныне и в домех, и на путях, и на торжищах иноки да мирские людишки — все сомневаются, все о вере пытаются. Поди слышал Феодосий-иконник, как говорят, распоясавшись: «Что то царствие небесное? Что то воскрешение мертвых? Ничего того нет. Умер кто, ин тот умер».

Замкнулся от подобных речей ярый иосифлянин Феодосий, словно в рот воды набрал. Вни-

мал речам старца невежливо, неохотно. Ведал иконник: отцу Дионисию пришлось бы по сердцу поучения затворника Иоасафа. Ему, отцу Дионисию, от нестяжателей—честь да хвала. А Феодосию путь править с сильными, дело делать с разумными. И еретиков жечь да казнить надобно, коль скоро ереси веру колеблют. Задумали, вишь, иконам не молиться, в церкви не ходить, в грядущее царство не верить. А Феодосию — по папертям побираться? С каликами переходим в голос выть? Не бывать ересям на Руси! Зловерье новгородское железом каленым выжигать надобно, а не молитвами милостивить еретиков.

...Бледное солнце выглянуло из-за тучи. Задрожали на свету тополиные листья, зашептались травы, сильнее заверещали монастырские галки.

Иоасаф, поддерживаемый под локоть иконником, вошел в собор, где в обеденный час было безлюдно.

От купола до самого полу покрывала собор золотистая и бирюзовая роспись. Помосты да лестницы затеняли многие письма. Краснели кирпичем непролепкашенные своды и подпружные арки. Но ясен был чудный замысел главы иконной артели. В четыре ряда шло письмо: по нижнему ряду—платы с дивными медальонами. Затем изображения церковных соборов и лики святых. Выше—акафист во славу девы Марии, по сводам да по лютернам — евангелические главы.

— Лепота! — еле слышно выдохнул Иоасаф. Феодосий, польщенный похвалой старца, стал разъяснять ему многомудрую хитрость стенного письма. Напирал иконник особо на «Вселенские

соборы». Да и в акафисте девы Марии пояснил Феодосий мудрую богословскую сущность: через прославление богоматери славили писцы-иконники доброго пастыря Иисуса Христа. Поднатюрелый в книжности Феодосий говорил живо, складно, легко.

— Лепота! — только и выдохнул в ответ Иоасаф, утомившийся от речей Феодосьевых.

...На совет к Иоасафу пришли казначей, келарь, игумен монастырский. Приведен был и Галактион, сникший, припрятавший под космы огоньки рассомашьих глаз. Совет вскоре порешил: дабы не отвращать прихожан от храма, собрать, какой есть народ, и явить народу новое чудо. Блаженный Галактион услышит глас небесный: «Поющий твое рождество хвалим те все, яко одушевленный храм». Слова из акафиста должны прозвучать внятно а раденье блаженного успокоить умы прихожан. Да и на сердце впавшего в скорбь Дионисия сии слова как разумели святые отцы, должны пролить свет благодатный. Ежели Галактион тому совету не внемлет, держать его в яме на железной цепи как пса до скончания века.

По полудни, во втором часу, ударил колокол на звоннице. Густой медлительный гул поплыл над озерами, над лесами, над крышами крестьянских дворов, крытых лубьем и дранью. Возле паперти замелькали клобуки монахов, скуфейки послушников, войлочные мужицкие колпаки. На паперть, к главному входу, с которого мастеровые сняли леса, взошел преподобный Иоасаф, келарь, игумен. Из храма показалось надменное

лицо Феодосия. Был он одет в рабочий балахон. Волосы повязал ремешком. Иные пособники с любопытствующим Володюхой теснились за его крутыми плечами.

— Братие! — торжественно начал игумен. — Иконная дружина старца Дионисия, преизрядного мастера из стольного града Москвы, заканчивает роспись в богоспасаемом храме. Ведомо нам: иноку Галактиону явился седни чудесный образ, благословивший подвиг дружины. — Галактионе, — обратился он к монаху, вышедшему из толпы. — Поведай чадам о сем чудесном виденьи...

Галактион в разорванном, спущенном с плеч рубище стоял неподвижно.

Но вдруг он дико запрокинул назад голову, из-под спутанной бороды его заострился волосатый кадык. В горле что-то забулькало, заклокотало. Ноги стали дрожать мелкой дрожью, подгибаться: Галактион, не склоняя головы, подымая руки вверх, грохнулся на колени. В голос запричитал какой-то чернец. Из ощеренного, с пенными закраинами рта Галактиона рвалась хрипая невнятица. Феодосий холодно посмотрел на блаженного, повернулся и спокойно ушел в собор...

Колеистый проселок, ведущий к Цыпиной горе, обветрился, зачерствел. Лишь в рытвинах омутами стояла вода. Дионисий ступал затравчаневшей обочиной, иногда он переходил на проселок, где посуше. Мягкие татарские сапоги его были забрызганы грязью, промокли, но Дионисий упрямо постукивал батошкой в лад неторопкому

шагу. Порывы ветра подхватывали его под зад, развевали полы ряски, морщили воду в колеях, пока, наконец, чистое небо не заблестело по всей дороге — и в глубоких колдобинах, и в малых лужицах, из которых воробью не напиться. Скрылась за спиной бревенчатая ограда Ферапонтова монастыря с надвратной, рубленной же из бревен церковью. Осталась за пригорком деревенька Лещево. Потемневшие от дождей избы сгрудились у проселка, как грибы опята. А дорога все круче и круче заворачивала к Цыпиной горе, к Ильинскому погосту, обтекала замшелые камни, ныряла в низины и снова взбиралась на крутые пригорки.

Мнилось Дионисию: идет он не сим хоженным-перехоженным проселком, а неким путем к некой высокой-высокой горе. С той горы из-за вечных туманов и облачных хлябей будет видна ему матушка-Москва. Бирюзовые ленты рек опоясали грудь земную. Легли к изголовью студеные моря-океаны. Вечнозеленым платом дубрав и полей окутаны плечи. Глядит Московия синими очами озер, глядит, не мигая. Пытает у него, у Дионисия, свою бусу, свою судьбу. А что ответит Дионисий, что изречет он? Путь его жизненный краток, но им же он течет. И не дым ли да пепел житье его? Не томим ли он страстями, в коих изнемогает разум его? Не искал ли он утешенья в прилежном письме? Не предавался ли философской премудрости, книжному чтенью? Не открылась ли истина ему в Сорской пустыне: «Путь сей краток есть... Дым есть сие житие»?...

Тюкает батожок по утопанной тропке. Пришаркивая, идет Дионисий к Ильинскому погосту.

Но как ни высоко, как ни жестоко встают в душе его волны унынья, стихает буря душевная и не может не видеть Дионисий благодати, разлитой окрест.

Березовые рощицы выбежали к проселку. Разостлались по взгоркам ромашковые травостои, с мокрыми, басовито гудящими шмелями. Зазвенели в небе жаворонки. Они падали и снова взмывали в поднебесную высь, словно кто-то поддерживал их паутинкой. Густой, сладостный дух шел от старых пепелищ, заросших тополями. Дионисий втягивал запах свежей смолки и примечал, будто опускает его телесная немощь, тверже тюкает батожок по земле. В такие тополя любил он забираться отроком, вырезать из веток свистульки. До сих пор обжигает губы горечь тополевой смолки. Бежит босоногий отрок за скоморохами, свистит, надувая щеки, в свисток. То-то было радости. То-то было веселья. Тюкает батожок по земле, которую от монастыря к монастырю, от посада к посаду всю исходил Дионисий. На глаза ему попала крупная, в ладонь, ромашка: малое солнышко, расцветшее у дорожного камня. Дивны дела твои, господи, дивны красоты твои, матушка-Русь! Погулял в молодости Дионисий по весеннему разнотравью у монастырских оград, у высоких крылечек. Порасписывал стены соборов охрой желтой, как сердцевина ромашки, белилом белым, как ее лепестки. Ныне осыпалась голова снежной затьею: не стряхнуть, не вычесать из поределшей гривы. А тогда сплетала ему Ориница венки из ромашек, целовала сладкой сладостью вишневой, надевала те венки на жесткие кудри.

Ах, дивны красоты твои, матушка-Русь!

Не счесть на равнинах твоих теремов боярских, башен оборонных, городов белокаменных. С красками да кистями, со всем набором иконописным исходил смолоду Дионисий твои дороги, ел твой хлеб, замешанный на корье сосновом, пил твое парное молоко. Встречал людей многих — князей в златотканых одеждах и святителей в бархатных саккосах, посадских в кафтанах суконных и служилых в кольчугах железных. Но пуще всего встречал на Руси простых холопов в азямах да сермягах, женок их в холстинкозых сарафанах.

Многолюдна ты, матушка-Русь!

Светла и просторна площадь перед Успенским собором в Кремле. Да и ту заливают море людское. Вспомнилось Дионисию, как святили сей благолепный собор. Глаз не хватит — лица человеческие, пытливые. Москва-народ ожидает выхода великого князя Ивана Васильевича. Гремит сбруя коней серебряными да золотыми цепями. Попоны тоже звенят от серебряных бубенчиков, подвешенных к ним. В красных полукафтанах, в шапках, осыпанных изумрудами, выезжает на площадь государева стража. Но горит, как жар, в светлом убранстве государь Иван Третий Васильевич. На государе — крест алмазный, перевязь золотая, платно царское — атлас по серебряной земле, травы золотые, запястья жемчугами унизаны. Смуглолиц, темно-волос князь и высок ростом. Посему горбится он в платне царском. Блистает гордым взором, глядит куда-то поверх толпы, поверх замоскворецких теремов. Но и с тех дерзких кремлевских высот не окинуть ему взором новые страны московские: рязанские, ярославские, двинские,



заволоцкие, вятские, пермские... И все ныне единая Русь! И вся ныне под его, князя, державою!

Ликованье в народе поднялось: не московский удельный князь, а государь над всеми государями земли русской Москве-народу явился. Ей же, Руси, расти, молодеть и расширяться до скончания века.

Помнится, подступил к горлу комок у Дионисия, заблестели на глазах благодатные слезы. Воскрылила его сила народная и вскричал он вместе с толпами: «Слава пресвятой богородице — заступнице русской! Слава государю нашему!»

...Притомился Дионисий от неотступных видений, от неближней дороги. Спустился в овраг, поросший черемухой, испил ключевой водицы, осыпанной черемуховым снежком. Потом утерся полой ряски, присел тут же у ручья на камень-плакун, сложил крестом ладони на батожке, обоперся подбородком, задумался.

Сколько он ни помнил себя,—с великим жаром душевным писал богородицу. Едва, бывало, слышит величавый глас: «Радуйся чудо чудес Одигитрие-владычице», как громом прокатится в душе похвальная песня — акафист в честь богоматери девы Марии.

На Руси со времен Калиты Одигитрия почиталась по многим церквам и посадам. Молились ей, слышав гром копыт татарской конницы, увидев дымы, палимые по окоему. Выходили с иконой навстречу татарве, да ливонцу, да немцу, да ляху, да иным агарянам, супротивникам русских людей. Бились насмерть: один бился с ты-

щею, два — с тьмою. И светозарной зарей сияла над воями Одигитрия, заступница за православных. Потому-то сладкие песнопения в честь богородицы неумолчно звучали в душе живописца. Мыслил Дионисий те песнопенья высказать посвоему, иконным письмом, незамутненными чистыми красками. Лазорь да голубень брал от неба, киноварь — от утренней зари, а охру — от яркого солнышка. И немало он изощрился в своем ремесле.

В Боровском монастыре со старцем Митрофаном, у которого был Дионисий в пособниках, расписали они храм рождества богородицы чудно вельми. Дивился на роспись великий князь Иван Васильевич. Запомнил государь молодого иконника, полюбил его за письмо, вещавшее о победоносной силе, о торжестве воинства христианского, а стало быть и его, князя, могуществе.

И надо же было случиться такому диву. В лето 1482-е сгорела на Москве церковь каменная святого Вознесения. Пожар вспыхнул ночью, внезапно. Прибежавший церковный сторож кинулся в храм, охваченный полымем, дабы спасти Одигитрию, чудную икону греческого письма. Вынес сторож из церкви одну обгорелую доску. Жаром спалило лик богородицы, повредило кузень — дорогой серебряный оклад. Ропот пошел по московским дворам и подворьям, по торговым рядам и причалам. Пребывали в страхе многие люди: беспокойно жилось им в русской земле. Тем же летом крымский хан Менгли-гирей с силой своею взял Киев, много там пакости учинил, многих в полон увел и с женами их и с детьми. Невозможно было Москве-на-

роду жить без вознесенской святыни. Тогда стали искать наилучшего иконника, который смог бы на той же доске в том же образе написать Одигитрию. И не было изящнее и хитрее в русской земле живописца, чем Дионисий. В долгих трудах пребывал иконник, а когда налил на ладонь олифы да протер той теплой олифой письмо,— ахнули миряне и иноки: Одигитрия была краше прежней, но и ничуть не отличима от греческой прориси.

С той обгоревшей и заново писанной иконы окружили Дионисия еще большим почетом при княжеском дворе, при московском митрополичьем престоле. Летописец, пересказавший случай с пожаром, с похвалой помянул Дионисия, дабы пребывал он незабвенно «в последних родех». Иосиф Волоцкой, князь церкви, заказал и щедро оплатил иконнику роспись Волоколамского монастыря. Архиепископ ростовский Вассиан за иконы посулил сельцо монастырское. Люди знатные, наипервейшие на Москве богатеи, шли к нему толпами: льстились сделать вклад в монастыри светлыми образами письма Дионисия. Но всех боле ласкал живописца сам государь Иван Васильевич. Стал Дионисий жалованным иконником, государевым любимцем.

Но лучше бы пропадать Дионисию в неизвестности, жить в скудости, в небрежении. Лучше бы ему быть скромным мирским писцом, ходить по Руси с вольной артелью, писать церкви по собственному разумению. Добро плавал Дионисий по морю житейскому, ясными и тихими ветрами несло его ладью к берегу изобильному. Однако грянула буря вражья, и сотрясло ладью, как осиновый лист. В одночасье потерял он Ори-

ницу, верную подругу в трудах и скитаньях своих, занемог неутолимой скорбью. Незесел стал Дионисий, необщителен. Примечал он на княжеском дворе прежде непримеченное: княжедворцы предавались корысти да сладострастию. Сам князь был мстителен и лукав. Видно, с умыслом прозвал его Горбуном родной отец, великий князь Василий Васильевич — убог был духом, мучим, словно калека-горбун, надменной гордыней наследник престола князь Иван.

Уставать стал Дионисий от великокняжеских ласк, от непомерных ивановых притязаний. Холодно стало его письмо, зело мудрственно. Отблесками славы, а не самой светозарною славой дышали росписи и богомазные лики. Где должно было Дионисию с разумом пользоваться художеством, дабы продлить государю милости промысла, — он же толпы мирские упоенно писал. Великий князь встревожился. «Да стоит ли писать живых и мертвых на святых иконах молящих, — пытал он у духовника Вассияна. — Пишут же теперь и цари, и князья, и святители, а доперезь всего пишут народы, которые живы суть». Худ стал Дионисий для великого князя. А то лучше были иконники — холуяне, коих немало привезла с собой грекиня Софья Фоминишна, вторая жена московского князя?

Тут-то и случилось быть письмам старца Иоасафа. Сулил Иоасаф забвение всех скорбей в лесах ферапонтовых. Хвалил непомерно новый храм. Прельщал немалыми выгодами.

Так-таки тяжко было пускаться Дионисию в неведомый предел и долго бы он еще раздумывал, если бы не настоял сын Феодосий,

«Истинное иосифлянское благочестие должны мы нести, как крест подвижники, — убеждал он отца. — Та земля Заволоцкая была пятиной великого Новгорода, зараженного ныне зловерьем. Самый край государства московского теперь Заволочье. Быть там праведникам московским и московским святителям. Быть там власти князя московского во веки веков».

Только не сына послушался Дионисий, а послушался он своей тайной думы. В Заволоцкой земле, вблизи от Ферапонтова монастыря, находилась некая заветная пустынь.

Возмечтал Дионисий у великого старца той пустыни Нила смягчить сердце покаянием, вылечить душу безмолвием. Возмечтал он победовать старцу на жестокосердие московских властителей. Выискивают те властители крамолу да смуту, как волки степные, по торговым рядам, по монашеским кельям, по народным гульбищам. Людям, на язык вольным, умом смущенным, в Новеграде колпаки берестяные на головы надели и те колпаки на головах сожгли, а других в темницы бросили, а другим навечно кляпами рты забили.

Был Дионисий от роду незлоблив, мягкосерден. Всю жизнь он бежал насилья над ближними, страшился крови, пролитой единоверцами. Ни поносить, ни укорять не хотел почтенный иконник, а только искал справедливости и благолепия в мире.

И хотя скиты среди непроходимых топей и малых берез на берегах речки Сорки были для мирских людей маловходны, одолеваемый печалью Дионисий тронулся в пустынь в сопровождении левкащика Еремея.

...Снег в ту весну, когда приехал иконник из Москвы в Ферапонтово, долго не таял. Лежал он осевший, похожий на серый, худо отбеленный саван. Земля сквозь лунки, желтевшие летошнюю травой, дышала трудно. При редких порывах ветра еловые лапы скреблись по насту, роняли на снег древесную прель и труху. На вывороченных буреломом корягах мерно покачивались сухие комья земли. Коряги зывали жутко и страшно к безликому небу.

Монастырские дроги, на которых бочком сидел Дионисий, сильно стукались о коренья, иное летели книзу, иное по ступицы завязали в болотной жиже. Еремей, почмокивая на лошадь, дремотно валился на плечо живописца, вздрагивал, озирался и снова раскачивался в неодолимой дреме. С тоской и болью глядел Дионисий на разметанный ветром, неприбранный, гибельный лес. Думал он, что скажет отшельнику Нилу, уверует ли в исцеленье мирских печалей, измаявших сердце, найдет ли в его речах утешенье.

Еремей меж тем очнулся от дремы, подобрал вожжи, прикрикнул на лошадь, — дроги резче, злее стали встряхивать седоков. Заструилса мелкий березник, потом ельник — реже, реже — дроги выскочили на сырую болотистую луговину. Скиты пустыни были редко раскиданы по топкому берегу Сорки. Лед на реке вздулся, посинел, пошел глинистыми потеками и черными полыньями. Только ветхая часовенка приметно белела среди скитов. На слабом солдцегреве возле часовни виднелся еловый настил. Дионисий с левкащиком, не видя окрест ни единой души, подошли к настилу, застыли в молчаньи. В гру-

де грязного, дурно пахнущего тряпья лежал умирающий инок. Борода его свалялась в ржавые клочья, смертные блики легли на щеки. Дышал он хрипло, тягуче. Иссиня-бледные губы прилепились к крепким белым зубам.

Сердобольный левкащик торопко сбегал к подводе, достал оловянный ковшик, зачерпнул талой воды из канавы и дал напиться монаху. Тот припал к ковшу: прозрачные капли скользнули по бороде, глотки были судорожны и часты.

— Ай, не дело затеяли, миряне, не дело.

Дионисий с левкащиком враз оглянулись. Перед ними темней насупленной тучи высился старец. Был он осанист и худ. Седая с прозеленью борода свивалась косицами, стекала к лыковой опояске. Рука властно опиралась на тяжелый дубовый батог.

— Блажен, кто возненавидел сей мир и славу его. А вы восхотели земную юдоль инока Поликарпа продлить. Вот я вам и вещаю: бесполезное дело затеяли вы, миряне, в пустыне Сорской.

Старец говорил глухо и строго. Он возвышался над мастеровыми, как сухая тростина над зеленой осокой. И коль скоро Дионисий ехал сюда, погруженный в смиренность, в ожидание целительных откровений, он не сразу дал власть обиде и гневу.

— Не дело другое: как псу, валяться монаху в смрадном тряпье. Он же еще человек,— голос Дионисия был смиренен, но тверд. Тайная горечь метнулась из глаз, притененных тяжелыми веками.

— Что сие человек?— откликнулся резко отшельник. — Вместилище немощей плотских? Мразь земная? Червь, копошащийся у подножья

горы? Все едино: он тленен. Ну и пусть под неслыханной мукой, под гнетом, под страхом смиряет телесную плоть.

— Человек — вместилище светлых надежд,— столь же резко ответил ему Дионисий. — Даже в этом зловонном тряпье он питает надежду на спасенье души, коль не плоти.

Качнулся в суровом молчаньи отшельник, повернулся узкой спиной к скорбному ложу и пошел от пришельцев к часовне.

Так-то с отшельником Сорским повстречался отец Дионисий, так-то вступил он в беседу со старцем, у которого возмечтал найти утешенье. Поил его Нил смертной отравой, пахнувшей тленом. Поносил за смятенность ума — земную сердечную боль. «Мудрствуешь о высоком,— наставлял он сурово,— а блаженство отверг, предавшись мирским ремеслам. Жалеешь убогих и сырых, оскорблений не терпишь, поносишь духовную власть придержащих, не чтишь пастырей, коим открылось всеобщее предначертанье,— много мнишь о себе, славы ищешь земной, а не вечной!»

Что еще говорил ему Нил, — Дионисий всего не помнил. Только, может, острее, чем прежде, он понял одно: вознесенный в гордыне Сорский затворник мнил, что ключи от всех напастей, от бед человечества у него, у целителя, в левой ладони, а правая сжата в кулак — и перст указующий тычет в него, в живописца, как в несмышлениша, как в неспособное к разуменью дитя.

Ах, как тягостно, как невозможно мучительно было тогда живописцу! Сердце сжалось, дыханье



стеснилось в груди. Круги багряные вспыхнули перед глазами, забесновались черные мухи. Упованье его рушилось, словно занос над обрывом, увлекал в паденье его, Дионисия, разум и волю. В глаза, в самый зрачок был воткнут старческий перст. Желтый тот перст заострялся, тончал, как коготь хищной птицы, и казалось, вот-вот вырвет очи, зальет лицо сукровицей и слезами, погрузит в кромешную, вечную тьму. И здесь, под безликим и плоским небом, под смрадною мешковиной, будет лежать не безвестный монах, а сам Дионисий, лежать, погруженный во мрак, в молчанье, в безутешную боль.

На обратной дороге из пустыни Сорской заметил Дионисий лесную поляну. Там вековую сосну повалило метелью: как видно, лесной пониженный пожар иссушил корни, выжег пламенем сердцевину. И хотя еще зеленела верхушка, был черен и пуст, словно короб, могучий, в темных подпалинах ствол.

Вот таким опаленным, выжженным, опустошенным ощущал себя Дионисий после встречи со старцем великим. Гупко было внутри и пусто, как в подземелье. Отвращенье терзало, когда он брался за кисти, разводил олифу и краски. Бежал Дионисий людей, бежал живописной работы, но повсюду он нес пустоту, всюду зрил перед взором надменный указующий перст.

...Очнулся Дионисий от дальнего колокольного звона. Прислушался: звонили в монастыре. Подивился он тому внезапному звону да и забыл вскоре. Встал иконник с замшелого камня, раз-

мял занемевшие ноги, вышел на проселок, затюкал своим батожком. Теперь уж недалече до Ильинского погоста.

Дорога вбежала на ладное возвышенье и тут-то, от двора попа Филарета, открылось лесное озеро, прозванное, как и гора, Цыпиным. Много повидал Дионисий чудных чудес на земле, но краше озера вроде бы и не видывал. Было оно укромным да светлым, как светлое небесное око. Низкие берега его покрыла черемуха, а на взгорках росли березы, темные ели, высокие сосны. У самой воды приютился храм Ильи Пророка. Храм — деревянный, одношатровый, старинной плотницкой работы. Его чешуйчатая, крытая лемехом глава отражалась в неподвижной воде, и чудилось Дионисию: из глуби вод вздымается еще одно дивное строение, которое колеблется на воде легким платом, течет к другому берегу, рвется отраженными главами.

Дионисий обогнул церковку, заглянул в сторожку Олехи-послушника. Там было пусто. Тогда он сел в тени старых берез, снял камилавку, вытер вспотевший, с большими пролысынами лоб. В кустах редко попискивала синичка. Было так тихо, что доносился всплеск рыбы из прибрежной осоки. Гудели пчелы, облетая душистые соцветья. И эта тишина, прогретая солнцем, пропахшая черемуховым цветом, освеженная озерной водой, захлестывала человека, убаюкивала его, заставляла в полудреме закрывать глаза.

Дионисий бездумно шурился на ослепительно сиявшую гладь озера, наслаждаясь давно ожидаемой радостью тишины и покоя.

Из-за высокой осоки вынырнула лодка-долбенка. В лодке сидел послушник, орудовавший

кормилом. Он обрадованно помахал рукой отцу Дионисию, который только молчаливо улыбнулся в ответ. Любил живописец послушника за открытый, веселый нрав, за ясный ум и понятливость. Олеха в Дионисии души не чаял. Сдружились они зимними вечерами, когда гостевал живописец у попа Филарета. Зимой иконники безвыходно сидят по избам поселян, по монастырским кельям, пишут иконостасы для соборов, ждут красного лета, чтобы вновь приступить к стенной росписи. Так и Дионисий жил затворником на Ильинском погосте, изредка писал иконы для вологодских, двинских, белозерских монастырей. Но и в летнюю пору искал он на Цыпинном озере душевной отрады. Олеха-послушник привык к старцу, помогал ему растирать краски левкасить липовые доски, следил, чтобы не прохудилась у иконника обувь и одетель.

Челн ткнулся в илистый берег. Послушник встал, подоткнув ряску, выбросил из челна верши, выкидал прямо в траву окуней и плотвичек. Подошел к сидящему живописцу.

— А что, отец Дионисий, не заварить ли нам ушицу? Вкусна ушица из сладкого окуня...

Дионисий, будто не слыша, по-прежнему щурился на солнце, перевалившее за полдень, идущее к заходу. От солнечного тепла морщины на лбу его разгладились. Лицо обмякло, подобрело. С полузакрытыми глазами был Дионисий благодетен, как библейский старец, но стоило ему вскинуть веки, как в глубоко запавших глазницах начинали поблескивать карие молнии. Они озаряли лицо тревожным светом, искушающей, пытливой мыслью. Прежде чем ответить, Дионисий долго смотрел на вопрошавшего, словно

пытал его тайной, пронзительной до дрожи, ведомой одному живописцу, и, только встретив взгляд, отвечал.

— Добро, мой сын, добро, — будто очнувшись, промолвил Дионисий. — Только скажи: нет ли в сторожке цки липовой, хорошо пролезакашенной, да яиц, да кистей.

— Как, отец Дионисий, не быть... Я единым дыхом.

Живописец благодарно взглянул на послушника и снова погрузился в глубокую думу.

С самой ранней весны, с той памятной встречи с отшельником Сорским, не знал Дионисий такого молодого, до суши в горле порыва, такой яркой потребности писать. Хотелось ему немедленно взять в руку тоненькую, как стебелинку, кисть и замереть, затаиться перед первым мазком. Запыхавшийся Олеха расстелил холстинку, развел в скорлупках нежный яичный желток, добавил соли, растворил краски. На липовую доску головкой — березовым угольком — Дионисий нанес знаменье — первую прорись: лик под мафорием, тонкую шею, кисти рук. Послушник, видя, что Дионисий при деле, ушел разводить костерок, скребком чистить плотвичек.

Доска была махонькой, всего в две ладони, но Дионисий писал деву Марию с тщанием и любовью, нет, с душевным трепетом, словно то был средник великого деисусного чина. Он положил на левкас бледно-серебряный тон, потом осветлил лик, потом положил пробелы.

Закатное солнце клонилось к Цыпиной горе. Оно поило округу золотоносной пыльцой, крыло сосны красной медью, а молодые березки —

яркую желтизной. Небо над живописцем было светлой — до головокруженья — лазури, но Дионисий впился взглядом в доску. Он отрывался только затем, чтобы осторожно макнуть кисть в скорлупу и снова сделать легкий движок.

Тонко-тонко запел первый комарик. В кустах, у самой воды, выщекотал соловей. Из глубины заозерного бора, сквозь скользящие волны желтого света, летело гулкое кукованье. И тогда, казалось, стихало треньканье, звеньканье, по-свистывание, перепархивание в прибрежных кустах, чтобы, едва смолкнет голос кукушки, снова слиться в согласный победительный хор. Озерцо, блестящее слюдой, было окольцовано тем разноголосым гомоном птах: перед заходом всякая тварь славилась день, проведенный в трудах и заботах.

...Дионисий со вздохом облегчения отпрянул от поставца. Подошел Олеха-послушник, заглянул через плечо и не мог оторвать взора от дивного образа.

Нежен и сладостен был лик деви Марии. Сросшиеся на переносице брови гнулись крутыми дугами: угадывалась в разлете бровей сила. Уголки рта, писанного черленью, теплили душевную доброту и сердечность. Но чудны вельми были очи Марии: вся радость и печаль мира была в зеленовато-голубых очах. Очи жили,— в глубине их светились два крохотных животворящих пламени.

— Отец Дионисий, то есть Одигитрия? — простодушно спросил послушник, когда наслаждался невиданным зрелищем.

Прищурился мастер, разглядывая творенье сердца и великого живописного дара, словно откуда-то из дальней-дали.

— Нет, Ориница, — коротко молвил в ответ.

И вздохнул. И подумал: как и младшего сына, однако совсем по-иному, одолело его мирское письмо. Мало божественного в новом лике, а посему никто, кроме Олехи-послушника, не будет видеть писанный в жару и душевном ознобе образ Ориницы.

Не знал того послушник: в неведеньи возмечтал он, как затеплится свеча перед иконой, как в жаркой молитве он забудет тревожнения прелестного и мимотекущего света сего. Ах, Олексей, Олексей, не мечтай, взгляни еще раз, запечатлей в сердце своем Ориницу и утешься.

Долго не мог охолонуть Дионисий от сладостных, пережитых им за писаньем волнений. Они же радовали его целительной силой, просветленьем ума, изнемогшего в ожидании тьмы кромешной. И теперь на закате, у светлой озерной воды, закончив невиданный образ, Дионисий дивился мудрости слов, изреченных содругом его Митрофаном. Голосом тихим, как шелест вечерней листвы, вещал Митрофан: «От трудов своих мученических будешь иметь ты печали многие, но в тех же трудах найдешь великое утешенье».

...В багряном огне заката, под сенью дуплистых берез, хлебал Дионисий с послушником Олехой окуневую уху. Навариста и воистину сладка была ушица. Обжигала рот, веселила тело. Добрая истома разливалась от нее по рукам и ногам, и трудно было встать с приозерного луга, пойти



в сторожку, которая до притоки была забита душистым сенцом.

На том малом, духовитом сенце крепко, как в дни первой молодости, спал Дионисий. Снилось ему Ориница в ромашковом полево венке. Смеялась зазывно, лукаво. Манила к себе. Звала.

Когда проснулся иконник, в морщинах щек не высохли слезы. Звала его, мать Ориница, звала в горний край, в неблизнюю дорогу. Иконник лежал в сторожке, не открывая глаз, боясь испугнуть отсветы сновидений. Потом встал, одел ряску, обул татарские сапоги, просушенные Олехой-послушником, и задолго до первого луча пустился в обратный путь, в Феропонтову обитель.

На севере летние ночи светлее зимнего дня: малиновая заря сливается с нежно-розовым восходом, и свет вечерней звезды во всем подобен свету звезды утренней. В том розовом озарении густые травы сникают под тяжестью скатных жемчугов: роса серебрится на травах тускло, дымчато. Пичуга выпорхнет на проселок, попрыгает, попьет, сладко прижмурив глазок, из чаши придорожной матери-мачехи и вспорхнет с тонким писком.

Так было и в ту светлую ночь.

Высоко, прохладно встало над Дионисием небо. Шел он споро, но неторопливо, как странник, привыкший к долгой дороге. Вскоре показалась деревенька Лещово. За Лещовым, в низке, где вода подступила к самой обочине, от берега отошла рыбацья лодка. На невозмутимой



глади она оставляла долгие мерные круги. Гребец, налегавший на весла, сказал вполголоса напарнику: «Спел бы ты, Федюха, отвальную...» Тот, сидя спиной к Дионисию, что-то ответил. Гребец рассмеялся и снова налег на весла. Лодка терялась, таяла на глазах, как вдруг над неподвижной водой, отражающей звезды и дальний синеватый бор, полилось, заплескалось:

Ах, плавала лебедушка по морюшку,  
Плавала белая по синему.  
Ах, да, плававши, она, лебедушка, воскликнула  
Песню лебединую, последнюю...

Защемило сердце у Дионисия от молодого чистого голоса холопа, от его протяжного зова, всколыхнувшего дрему рассвета. Вот и лодка скрылась в озерной дали, а голос певца все еще растекался над водною ширью. Дионисий постоял, долгим взором, будто прощаясь, оглядел земные просторы и стал подыматься в гору к монастырю.

Когда он вошел в обитель, прямо перед ним воссиял благолепный собор. Белокаменные стены его розовели от рассветных лучей. Глава парила в утренней голубизне. Дионисий медленно приблизился к лестнице, и тут-то он увидел то, что трепетно ожидал, к чему стремился с такой нетерпеливостью, на что надеялся, о чем думал в тоске и неотступной кручине, но что, однако же, поразило его тем сильнее и глубже, чем горше были его сомненья и ночные страхи.

В прозрачном воздухе во всей первозданной чистоте красок предстала перед ним роспись главного входа. Высоко к деревянному скату вознесся «Деисус». Перед престолом сына бого-

мать смиренно молилась за род людской, за всех страждущих и скорбящих. Ниже по правую и левую руку, в росписях были представлены «Рождество богородицы» и «Ласканье младенца». Еще ниже — два ангела. Левый ангел на дорогом пергаменном свитке писал имена вступающих в храм. А по самому низу развивались два белых плата с крупными медальонами посредине.

Какой радостью, миролюбием и кротким согласьем веяло от «Рождества богородицы» и «Ласканья младенца»! Роженица, праведная Анна, полулежала на широком ложе. Голубое одеяло прикрывало ее. Служанка в зеленом хитоне подавала Анне питье в золотой чаше. Чуть поодаль стояли две соседки: одна с высокой прической в розовой накидке говорила что-то другой, а та держала в руках сосуд и внимала ей вдумчиво и спокойно. Внизу, у купели, девушка пробовала воду, — тепла ли вода. Ее подружка держала на коленях младенца.

А за сей дружелюбной, погруженной в светлое умиротворенье семьей, за палатным письмом с портиками, колонками, дымчатой занавеской голубело такое высокое, — до головокружения, — чистое небо, что отблески его, казалось бы, падали на кирпичи галереи.

Понимал Дионисий: дерзкий вызов бросал он времени, веку. Он бросал свой вызов братоубийственный войнам князей, нечестивым властителям, всем, кто сеет раздоры и муки.

Вопрошал Дионисий: — Так ли жить надо, люди? — Отвечал он: — Вот так надо жить вам: постигайте счастье привета и ласки, доброты и семейной отрады. Встречайте рожденье младен-

ца с любовью любите друг друга, как Анну любил Иаким, как любит вас всех дева Мария.

Восходил Дионисий, озаренный лучами, на широкую паперть. Он хотел увидеть, нет, он услышать хотел, как звучит его стенопись в рождество-богородицком храме. Вошел старый иконник под гулкие своды. Вошел и закрыл на мгновенье глаза. Послышался слитный гул молящихся. Дыханье людских множеств витало в соборе. Шелест парчовых риз, звон браслетов, бряцанье мечей окружили иконника. Но заглушая шорохи, вздохи, звоны, молитвы, грянул акафист: «Радуйся чудо чудес, Одигитрия владычице».

Дионисий открыл глаза. Вроде бы все так и было: текли людские толпы, парили праведники в небесной лазури, сидели, едва прикасаясь к седалищам, мудрые старцы. Однако акафист звучал приглушенно. Тонкие пальцы девы Марии согнуло болью. Лик богоматери, повторенный множество раз, был непроницаем. Не ласканье, не умиление являл он — одну величавую отчужденность. Но толпы людские текли и текли. В дорогих одеяньях, в рубищах, в легких хитонах, в воинском позлащенном убранстве. Взивались на крутые горки кони волхвов. Прорастали болотные травы. Рыкали диковинные звери. Журчали хрустальные родники. И снова роспись сплеталась в янтарно-лазоревою многовещанную вязь, в которой все время тревожно, настойчиво звучал вишневым мафорий девы Марии и и витала галактионова тень.

Близко к полудню Дионисий спустился со стремянки, на которой стоял он с утра, расписывая «Николу» в дьяконнике.

— Феодосий, — позвал сына. — Как кончим роспись собора — на софите северной двери крупным уставом напишешь: когда подписан сей храм... — подумал, потом пояснил: — И кем...

Феодосий не скрыл удивленья:

— Для чего, отец, сие дело?

— Дабы потомки не променяли наших простых речей на краснейшие, — ответил ему Дионисий, пошел к стремянке заканчивать поясного «Николу», остановился. — Дабы не были их сужденья вне истины.



## О Г Л А В Л Е Н И Е

Случай подлинный, счастливый ( <i>Сергей Залыгин</i> ) . . . . .	5
За монастырской стеной . . . . .	9
Утешение Дионисия . . . . .	27

---

Валерий Васильевич Дементьев  
ДИОНИСИЙ

Редактор *В. М. Малков*  
Техн. редактор *С. И. Соколова*

---

ГЕ01880. Сдано в набор 14. 7. 1970 г.  
Подп. к печ. 30. 7. 1970 г. Формат 62×94/32. (Бумага  
мелован.). Бум. л. 1,125. Печ. л. 2,25. Уч.-изд. л. 2,34.  
Тираж 50 000. Цена 21 коп. Заказ 4187.

---

Вологодское отделение  
Северо-Западного книжного издательства.  
Вологда, Чернышевского, 17.

Областная типография, Вологда, Калинина, 3.

21 коп.